

*Текст сверен с изданием: А. И. Куприн. Собрание сочинений в 9 томах. М.: Худ. литература, 1971. Том 2 С. 50 -53.*

Моросил мелкий дождик. Улица казалась пропитанной туманом. Незаметная холодная влага оседала на лица прохожих. Все эти люди, куда-то торопливо бегущие с поднятыми воротниками и раскрытыми зонтиками, имели скучный или угрюмый вид. Встречаясь с нашей процессией, они снимали шапки и с холодным любопытством осматривали: оборванных факельщиков с распухшими, сизыми, зверскими лицами, идущих парами, подобрав подола траурных кафтанов и шлепая дырявыми сапогами по лужам; пару лошадей в черных пополах, с чехлами для ушей и с огромными страшными отверстиями для глаз; черный, обшитый серебряным позументом катафалк, на вершине которого стоял белый глазетовый гроб, а на нем жестяной зеленый венок; наконец длинный ряд наемных экипажей, наполненных равнодушными, немного скучающими, немного конфузющимися мужчинами и женщинами.

В этой процессии, медленно ползущей по грязи, под сплошным, мелким, осенним дождем, было что-то жалкое, подавляющее, ужасное. Мне представлялось, что если бы то, что было раньше бедным Пашкевичем, а теперь плавно колыхалось вместе с белым глазетовым гробом на катафалке, если бы это холодное, уже тлеющее тело могло как-нибудь выражать свои желания, оно раньше всего потребовало бы: "Оставьте меня в покое, разойдитесь по домам, зачем играть эту страшную комедию?"

-- Вы будете на могиле говорить речь? -- спросил я моего соседа по извозчику, публициста одного из местных газет, Васютина -- маленького желчного человека, которого я всегда любил за его великодушное горячее сердце, скрывавшееся под напускным цинизмом.

Он нервно поморщился.

-- Конечно, не буду.

-- Почему же?

Он с досадою схватился руками за лицо, ожесточенно стиснул его несколько раз между ладонями, покряхтел, точно от внезапной зубной боли, и заговорил с волнением:

-- Почему? А по тому самому, что там и без меня этих говорильщиков найдется пропасть... О, черт! Тартюфы, лицемеры проклятые! Я наперед знаю все пошлости, которые они будут произносить с их жреческим видом. "Святое знамя искусства!.. Неугасимый огонь на священном алтаре поэзии!.. Честный сеятель на ниве просвещения!.." Нет! Если бы я уж стал говорить, я бы действительно сказал им пару теплых слов.

-- Что бы вы им сказали, Антон Захарович?

-- А вот что я им сказал бы... "Все мы, литераторы, везем вперед нашу пресловутую колесницу прогресса. В этом нет никакого сомнения, но в этом также нет и ничего удивительного. И волы и ослы возят тяжести, потому что они послушны, упорны, выносливы и в конце концов уверены, что за свой труд они найдут в яслях охапку сена... Но знаете ли, что выйдет, если в телегу, нагруженную булыжником, запрячь кровную арабскую лошадь? Благородное животное будет лезть из кожи, надорвет спину, разобьет грудь, искалечит ноги и сделается клячей. Тогда его выгонят в поле околевать, и оно издохнет. А трудолюбивые волы дома еще долго будут жевать свое сено, возить тяжести и равнодушно отмахиваться хвостом, когда их бьют по бокам палкой..." И я бы кончил свою речь так: "Милостивые государи! Пашкевич был талантливее нас всех, здесь собравшихся... Это была избранная натура, нежная, возвышенная и пламенная. И хотя он, потерявший всякую способность к работе, терзаемый жестоким недугом, скончался, никем не оплаканный, на грязной больничной койке, я все-таки ему завидую".

-- Вы его близко знали, Антон Захарович?

-- На что же еще ближе! Я был в тот самый день в редакции, когда он принес свой первый рассказ. Он краснел, бедняга, как девочка, и заикался, объясняясь с секретарем. В его фигуре и словах было что-то виноватое, точно он совершил какой-то несерьезный, детский поступок, над которым мы, авгуры печатного слова, должны будем засмеяться. Когда он брал свой первый гонорар, на него было жалко смотреть. Мне кажется, что с таким видом человек совершает свое первое воровство. Скажите мне, сделайте милость, отчего это я всегда сам испытывал и на других наблюдал эту странную неловкость у писателей при получении гонорара? Оттого ли, что мы, русские, не созрели для печатного слова, или от сомнения в своих силах и, следовательно, в своем праве жить литературным трудом?

Я отлично помню его первые произведения. Сколько в них было огня, яркой и смелой, почти дерзкой своеобразности. И как он работал над ними! С любовью, с бесконечным терпением. Он трудился над ними, как ювелир над драгоценным алмазом, но читателям казалось, что они выливались у него с